

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПОДЧИНЕНОВ

кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Уральского гуманитарного института

Уральский федеральный университет (Екатеринбург, Российская Федерация)

a.v.podchinenov@urfu.ru

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА СНИГИРЕВА

доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Уральского гуманитарного института

Уральский федеральный университет

ведущий научный сотрудник Центра истории литературы Институт истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург, Российская Федерация)

tas0905@rambler.ru

HOMO SOVETICUS & HOMO POSTSOVETICUS: МОДЕЛИ СЧАСТЬЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Счастье является сложным культурным конструктом, имеющим множество выходов в сферы жизненной практики, но оформляемым преимущественно через художественный текст. В статье рассмотрена эволюция концепции счастья в советской и постсоветской литературе. Первоначально моделирование счастья строилось на противопоставлении общественного и личного. Проповедовалась любовь не к человеку, а к идее. Советская мифология строилась на том, что не семейное счастье, а счастье борьбы за построение нового мира становилось основой конфликта произведения (П. Павленко). Но существовал и другой дискурс, переводивший эту тему из героической в трагическую (А. Платонов), а впоследствии в форму диспута (Ю. Трифонов). В постсоветской литературе отсутствует доминирующая модель счастья, как и регламентированная общенациональная идея. Счастья наполняется не общим, но личным смыслом. Поиск счастья приобретает исключительно индивидуальный характер: то переносится в «невинное прошлое» (Б. Акунин), то трактуется как «преодоление себя» (Т. Толстая, А. Кабаков, Д. Рубина и др.). Роман В. Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи» стал своеобразной презентацией современного понимания счастья, где верх берет экономическая модель, создается новая, уже «экономическая» мифология счастья. Писатель считает это современной формой самообмана и подмены реальности. В финале статьи роман Акунина-Чхартишвили «Счастливая Россия», полный реминисценций, рассмотрен как очерк моделей счастья в советскую и постсоветскую эпоху, как разворачивание картин утопии с разных точек зрения: исторической, политико-философской, богословской, литературной.

Ключевые слова: модель счастья, советская и постсоветская литература, Пелевин, Акунин

Для цитирования: Подчиненов А. В., Снигирева Т. А. Homo soveticus & Homo postsoveticus: модели счастья в русской литературе // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2020 Т. 42. № 7. С. 78–86. DOI: 10.15393/uchz.art.2020.528

ВВЕДЕНИЕ

Счастье относится к той стороне жизни человека и общества, которая легче ощущается, нежели осмысливается. Симптоматично, что в фундаментальной работе Ю. Степанова «Константы: словарь русской культуры» нет статьи «Счастье», но особо выделены такие устойчивые концепты, как «Грусть, печаль», которые, по мысли ученого, в высшей степени присущи отечественной ментальности: процитированное пушкинское

«Боже, как грустна наша Россия!»¹, сказанное поэтом после прочтения «Мертвых душ», и восклицание В. О. Ключевского после размышлений о стихотворении М. Лермонтова «Родина»: «Это – русское настроение, не восточное, не азиатское, а национальное русское» [4: 150] убедительно подтверждают аналитические сентенции исследователя. Характерно, что при обращении к концепту «Радость», в какой-то степени соприродному понятию «Счастье», автор замечает:

«Но, к удивлению, для меня самого, в моих подготовительных, долгое время собираемых материалах не оказалось на этот счет почти ничего (не есть ли это – “значимое отсутствие”?)» [9: 419].

Но научное мышление по понятным причинам (одной из них является, видимо, стремление понять и описать вековую мечту человечества о счастье) пытается осмыслить этот феномен. В настоящее время поиск «подходов» к пониманию «счастья» продолжается и становится своего рода не только научным, но и общественным трендом. Это и традиционное богословское толкование, полагающее, что помочь человеку обрести путь к счастью могут церковь и Пасхальная радость². И оригинальный топографический подход к теме, в рамках которого осуществлена попытка «набросать в первом приближении этнографическую карту модерна как отражение погони за счастьем, как карту социального пространства, отмеченного его обрезами» [10: 7].

В центре внимания книги, положившей начало данному направлению,

«категория счастья в современной культуре, которая рассматривается в различных контекстах: от “американской мечты”, представленной в образе отдельного дома и машины, до мест свадебной фотосъемки в российских городах» [10: 4].

Ныне продолжает интенсивно развиваться особое направление экономической науки, «Экономика счастья», некоторые представители которого считают, что «при достаточном уровне демократии политика, нацеленная на увеличение Валового национального счастья, возможна» [11: 113].

В аспекте нашей темы конструктивно положение Евг. Добренко, высказанное в рецензии на сборник статей «Топография счастья: Этнографические карты модерна». Высоко оценивая сборник в целом, исследователь отмечает и некую его эклектичность, несфокусированность на самом предмете анализа:

«Едва ли не каждая из статей, включенных в сборник, содержит попытку определения счастья. Как правило, эти определения настолько беглые и расплывчатые и пересекают столь различные уровни (социальный, психологический, культурный, ментальный), что попросту растворяют сам феномен» [1: 166–167].

Ссылаясь на свой опыт проведения Ноттингемской конференции, посвященной советскому счастью, ученый приходит к выводу:

«Счастье – сложный культурный конструкт, который, разумеется, имеет множество выходов в сферы жизненной практики – индивидуальной психологии, социального опыта, повседневной жизни. Но ухватить там его очень сложно, поскольку он в самой прак-

тике не сформулирован, вне ее, теоретически, не конструируется. Иное дело – сфера культуры, где этот феномен материализован и дан концептуализированным, готовым, оформленным, т. ч. остается его читать и интерпретировать через культурный текст» [1: 171].

Моделирование понятия счастья в России, особенно в XX веке (впрочем, и в XXI), зачастую строилось на противопоставлении общественного и личного счастья. Необходимо помнить и то, что «текст счастья» в России прошлого века создавался и в сугубо идеологических целях, формируя особый миф для социума, и в индивидуально-личностном варианте, нередко противопоставленном официальной позиции. И здесь уместно вспомнить давнее утверждение Э. Дюркгейма:

«Социальные факты не только отличаются от фактов психических: у них другой субстрат, они развиваются в другой среде и зависят от других условий. <...> Состояния коллективного сознания по сути своей отличаются от состояний сознания индивидуального; это представления особого рода» [2: 199].

Сложно представить, что счастье может быть всеобщим, множественным, что одновременно могут быть счастливы все, но именно эта утопия предлагается в качестве вполне реальной и достижимой в системе тоталитарного мышления, лишаящего человека свободы выбора. Неслучайно в одном из словарей прошлого века у существительного «счастье» отсутствует множественное число³. Советское государство и подчиненное ему официальное искусство осуществляют в XX веке попытку поставить знак равенства между тщательно отобранными и отраженными в искусстве социальными фактами и состоянием индивидуального сознания.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «СЧАСТЬЕ» В ОФИЦИАЛЬНОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Модель «счастья по-советски» весьма проста и определена, она была сконструирована довольно быстро и к 1930-м годам приобрела устойчивые параметры, что объяснимо идеолого-прагматической целенаправленностью, необходимостью четкой оформленности и вписанности конструкта в систему новых мифологем. К середине 1930-х годов утверждается весьма устойчивая схема, активно заявляющая себя в литературе, кинематографе, живописи, архитектуре. Обозначим основные составляющие формирующейся модели, одновременно показывая, как альтернативная литература, называемая сейчас «истинной русской классикой XX века», активно реагировала на «советскую мечту», разоблачая ее как враждебную и опасную для человека.

Во-первых, счастье должно носить общественный, но не личный характер. Оппозиция: счастье общего дела – «буржуазное счастье», «мещанское счастье», особо отчетливо проявила себя в новой концепции семьи – «ячейки общества», а не семьи ближнего, домашнего, самого естественного пространства самореализации человека. А. Макаренко в заметке «Счастье» назвал всю художественную литературу прошлого «бухгалтерией человеческого горя» [6: 82]. И только Октябрьская революция, по его мнению, выдвигает новый образ счастья: «настоящего, принципиально чистого, нестыдного» [6: 83], «явления общественного, исторического» [6: 84], «коллективного» [6: 89]. И, наконец, подводя итог, формулирует: «Счастье – проложить верный путь к светлой жизни всего человечества» [6: 88].

В советскую эпоху ядром новой формулы счастья стала необходимость «любви к дальнему», а не «любви к ближнему» (к идее, но не к человеку), что в особенности противоречит женской природе и что породило в литературе советской эпохи ряд женских образов, ранее немыслимых для русской литературы, сущностно изменив не только статус (товарищ, а не возлюбленная), но и функцию идеальной женщины в новом мире. Ее предназначение осуществлялось в парадигме «долг – труд – общество», а не в традиционной парадигме «любовь – дом – семья» (классический пример – героиня известной пьесы К. Тренева⁴). Эту новацию моментально уловил М. Булгаков в «Собачем сердце»⁵. Культивирование образа советской женщины, счастливой по-новому, осуществляется не только в литературе, но и в других видах искусств: показательны и кинокомедии этих лет, связанные с образами, созданными Любовью Орловой, и знаменитая мухинская скульптура «Рабочий и колхозница». Заметим, что названные «культурные тексты» имеют мало общего с общеевропейским художественным изображением процесса эмансипации, поскольку в данном случае речь идет не о равноправии, хотя этот лозунг активно эксплуатировался, но о подчинении женщины законам и интересам нового общества.

Во-вторых, происходило крайне агрессивное насаждение нового идеала счастья. М. Горький в статье 1932 года «С кем вы, “мастера культуры” Ответ американским корреспондентам?», размышляя о необходимости коллективизации для благополучия и счастья самого крестьянства, писал:

«Если крестьянство, в массе, еще не способно понять действительность и унижительность своего положения – рабочий класс обязан внушить ему это сознание даже и путем принуждения»⁶.

Ту же мысль вынашивает и герой замаятинского «Мы»: «Если они не поймут, что мы не-сем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми»⁷. Насильственный характер счастья – крайняя, но отчетливая черта «счастья по-советски», которая не могла не вызвать резкое отторжения в альтернативной «потаенной» литературе. Герой «Котлована» А. Платонова «душевный скиталец» Воцев «думал среди производства» и не мог выполнить «норму труда», в результате чего был вызван на «проработку» в завком, где происходит разговор, ключевой для понимания противостояния между человеком, личностью, без которой «народ неполный», и обезличенной властью:

«Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, – сказали в завкоме. – О чем ты думал, товарищ Воцев?

– О плане жизни.

– Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке.

– Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.

– Ну и что ж ты бы мог сделать?

– Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.

– Счастье произойдет от материализма, товарищ Воцев, а не от смысла»⁸.

Герои Платонова отторгают спущенное сверху «счастье из радиорупора», счастье, буквально вбиваемое громкоговорителем в голову людям, отчего им

«становилось беспричинно стыдно... <...> все более ощущался личный позор. Иногда Жачев не мог стерпеть своего угнетенного отчаяния души, и он кричал среди шума сознания, льющегося из рупора:

– Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!...»⁹.

Но именно в остросоциальном «Котловане» А. Платонов дает одно из самых тонких определений счастья как особого состояния души человека:

«Прушевский сидел на самом пороге барака и смотрел в поздний вечер мира. Он видел темные деревья и слышал иногда дальнюю музыку, волнуемую воздух. Прушевский ничего не возражал своим чувством. Ему казалась жизнь хорошей, когда счастье недостижимо и о нем лишь шелестят деревья и поет духовая музыка в профсоюзном саду»¹⁰.

В-третьих, в советской культуре активно пропагандировалось так называемое отложенное счастье. Человек не может быть счастлив «здесь и сейчас». Личность как «винтик» в «общепролетарском деле» настойчиво ориентировалась на аскетизм, самоотверженность, готовность к самопожертвованию, откладывание

достижения счастья на неопределенно далекий срок. Только в далеком будущем наступит всеобщее счастье (будет построен социализм, коммунизм), но для этого нужно «бороться, бороться, бороться ради счастья будущих поколений». Точно отметил Н. Ссорин-Чайков прием тиражированного использования и толкования знаменитого ответа К. Маркса на вопрос «В чем счастье?» – «В борьбе»:

«Это было, во-первых, отложенное счастье, счастье как будущее, где оно неотчетливо сливалось со “счастьем всего человечества”. Во имя этого счастья приносила жертва в настоящем – на стройке или на войне. Но этому счастью, во-вторых, сопутствовало простое счастье *внутри* этой жертвенности и отложенного счастья всего человечества:

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови,
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви» [8: 28].

На принципе обретения «личного счастья» исключительно при условии жертвенной борьбы за счастье общественное построен роман П. Павленко «Счастье», лауреата четырех Сталинских премий первой степени, в том числе и за названный роман 1947 года, который после первой публикации в общей сложности был издан более сорока раз. При этом, по справедливому замечанию В. Казака, «Павленко был мало популярным, но официально поддерживаемым писателем псевдореалистического направления» [3: 301].

Главный герой романа – полковник Алексей Воропаев – вынужден после тяжелого ранения, в результате которого он потерял ногу, демобилизоваться. На первых страницах романа постоянно подчеркивается тяжелое физическое и моральное состояние героя: инвалидность, застарелый туберкулез, перенесенные многочисленные операции, серьезная болезнь сердца, смерть жены, необходимость заботы о семилетнем сыне, бездомье и т. д. Приехав в Крым в самом конце войны, он попадает в «мертвый город», вокруг которого разрушенные и запущенные колхозы. Герой, который «всю жизнь мечтал жить у моря и был уверен, что такая жизнь и есть выражение наивысшего счастья», вдруг понимает, что «эта мечта повлекла его на позор и стыд»¹¹. Но это только первые страницы романа. По мере разворачивания сюжета ситуация кардинально меняется: за год, становясь «на передний край борьбы», забыв обо всех болезнях, герой восстанавливает разоренный край до прежнего цветущего состояния, встречается со Сталиным, заслуживая его похвалу и рукопожатие, воссоединяется

с возлюбленной. Образ Воропаева – крайний случай героя, о появлении которого с тревогой писал в статье «Против шаблона» А. Макаренко, героя, которого «освободили от всех конфликтов и радуются: какое счастливое бесконфликтное существо!» [6: 143].

Роман «Счастье» – не только беллетризованное воплощение социалистической мифологии, это – роман-схема, декларация должного, характерного для эпохи позднего сталинизма. Более неоднозначной концепцией счастья отмечена повесть Ю. Трифонов «Студенты», которая тоже была удостоена Сталинской премии (1950), правда, третьей степени. На площадке этого раннего текста будущего автора «Дома на набережной» разыгрывается конфликт «художника-реалиста» и писателя-«пуганой вороны» (выражение самого Ю. Трифонова). Повесть написана очень талантливой рукой, но с «оглядкой» и большой осторожностью. Именно «Студентами» писатель вошел в большую литературу. Повесть активно читалась в отличие от романа П. Павленко, активно обсуждалась, в чем немалую роль сыграл бытовой материал, положенный в основу, – студенческая жизнь. Автор сразу стал известным и популярным, но позже не любил вспоминать об этом и сам никогда не переиздавал свою первую книгу.

Ю. Трифонов для того, чтобы поднять вопрос о том, что такое счастье, вводит в текст распространенную в советское время форму диспута. После общего посещения студенческой группой Третьяковской галереи возникает частный вопрос и начинается спор: когда счастлив художник?

«– Художник бывает счастлив тогда, – сказал Андрей, со своей удивительной способностью просто и убежденно, безо всякого стеснения высказывать всем известные вещи, – когда он своим творчеством приближает к счастью народ, пусть на шаг, на полшага»¹².

Общепринятый тезис моментально подвергается сомнению:

«– Да? А я думала, что народ ни при чем, – сказала Лена насмешливо. <...> Я знаю одно, и вы меня не переубедите: человек живет один раз, и личное счастье для человека – очень много, почти все!»¹³

Дальнейший спор развивается путем обращения к авторитетам. Неубедительной оказывается апелляция к опыту культуры:

«– А Достоевский говорил, – заметил Марк, – что человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько несчастья.

– Ну, Достоевский! – Лена махнула рукой. – Это устарело. Никто не знает, что такое счастье»¹⁴.

Более развернутым и убедительным оказывается обращение к опыту преподавателя:

«– Как вы смотрите на счастье?»

– Оптимистически, – сказал Кречетов, улыбнувшись.

<...> А знаете ли вы, от чего происходит слово “счастье”?

– Счастье! Что-нибудь – часть, участь...

Лена остановилась впереди и обрадованно произнесла:

– Я же говорю: часть, частное! Ну – частная жизнь, личная... Да, Иван Антонович?

– Да нет, не совсем. Счастье – это “со-частье”, доля, пай. Представьте, что какое-то племя закончило удачную охоту. Происходит дележ добычи. Каждый член племени или рода получает свою долю – свое “со-частье”. Понимаете? Значит, уже древнее слово “со-частье” имело общественный смысл. Если для всего рода охота была удачной, каждый член рода получал свое “со-частье”, если была неудачной – не получал ничего. Стало быть, для достижения своего “со-частья” каждый должен был всеми силами участвовать в общей охоте, в общем труде. То есть, то, что называется – участвовать в общественной жизни. Вот вам и философия личного счастья»¹⁵.

В этом фрагменте ощутимо и стремление выдержать общепринятую советскую модель счастья по-советски и – одновременно – интонация будущих споров периода оттепели, времени «социализма с человеческим лицом», например, одного из знаковых фильмов тех лет – «Доживем до понедельника», в котором Генка Шестопал, ученик 9 «В» класса, сжигает школьные сочинения на тему «Что такое счастье», отстаивая невозможность его регламентирования сверху.

Но основной направленностью литературы советской эпохи в ее официальном изводе все-таки было внедрение новой системы ценностей, причем ценностей, ориентированных на создание мощного тоталитарного государства имперского типа, что повлекло появление новой утопии, связанной с возможностью появления счастливого человека в счастливом государстве.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ СЧАСТЬЯ В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

Применительно к постсоветскому обществу невозможно говорить о доминирующей модели счастья, поскольку в нем нет (во всяком случае, в течение двадцати пяти лет не было) попытки создания «постсоветской мечты», целенаправленного, регулируемого, регламентированного конструирования общенациональной / общегосударственной идеи.

Если в советскую эпоху оппозиционность советскому официальному пониманию счастья осуществлялась в литературе духовного сопротивления и отчасти в литературе русского зарубежья,

то в настоящее время различное толкование счастья предпринимается (в литературе, кинематографе, телевизионных сериалах) по иному принципу, а именно – по принадлежности автора и его творения к определенной страте культуры: элитарной или масскульту. При всей разнонаправленности современных поисков счастья как в обществе, так и в искусстве в них есть один объединяющий признак: модель счастья наполняется не общим, но личным смыслом. Понятие счастья возвращается в «свой круг», в семью.

Вынуждены констатировать, что вновь, как и в советской литературе, образ женщины в нашей литературе сопровождается странными коннотациями: «верный товарищ» советского времени трансформировался в сильного соперника мужчины, что воплощено в появлении образов новой амазонки, бизнес-леди, стервы, победительницы жизни, хищницы, рациональной и прагматичной дамы, лишенной женственности. Женщина как носительница устойчивых, традиционных, правильных ценностей почти исчезла из русской литературы, в том числе и элитарной. Здесь, безусловно, нужна поправка. Литература, созданная писательницами-женщинами, переворачивает ситуацию на противоположную, а массовая литература, в которой разыгрывается сюжет современной Золушки, находящей в конце концов своего принца-олигарха, делает образ хищницы / разлучницы необходимым, но не центральным элементом конфликта.

Характерологические черты современной модели счастья в различных стратах литературы схематично могут быть представлены следующим образом. Масскульт традиционно ориентирован на успех, богатство, карьеру. Счастье (чаще всего это эквивалент деньгам, богатству, благополучию) необходимо «здесь и сейчас». Главное устремление современной жизни в России воплощено в литературе массового характера в полной мере, со всеми необходимыми атрибутами, вплоть до непереносимого happy end. По точному замечанию Ю. Лернер, в «терапевтической культуре», каковой и является масскульт,

«счастье становится целью достижимой и даже инструментальной. У него есть рецепт, оно нормативно, и его можно оценить. Оно есть правильное и здоровое, сбалансированное и дисциплинированное эмоциональное переживание мира» [5: 193].

Мидллитература (современная, укрепляющая свои позиции беллетристика) предлагает разные пути достижения счастья или возможности избежать несчастья. Чаще всего перенося саму категорию счастья в прошлое, совсем далекое и древнее, или в «невинный девятнадцатый век»

(определение Б. Акунина), или в идеализированную советскую эпоху (ностальгия по советскому). Это и попытка обозначить героя – носителя знания о счастье и возможности его обретения. В одной из своих работ Д. Быков прослеживает трансформацию главной фигуры российского общественного сознания с 1985 года. Сначала это были Историк и Журналист, затем Экономист, после Политтехнолог, но никто из них не принес Счастья: «И тогда к согражданам, разуверившимся во всем, вышел Психолог... и поняли, что вот оно, лекарство. И стало Счастье...»¹⁶. Такой успех, полагает Быков, объясняется пониманием, которое принес психолог: «...не можешь изменить мир вокруг себя, измени отношение к нему»¹⁷.

Элитарная культура традиционно проповедует «трудное счастье быть самим собой». Более того, представители этого пласта современной словесности (Т. Толстая, А. Кабаков, Е. Водолазкин, Л. Петрушевская, Л. Улицкая, Д. Рубина, поэты как традиционной школы, так и авангардной направленности от О. Седаковой до А. Еременко, драматурги новой волны) твердо знают, что счастливый человек для русской литературы – нонсенс, он всегда или недостоверен, или нравственно сомнителен. И даже если поэт Мария Степанова называет свой сборник «Счастье», то читатель понимает, что это «обманчивое название... это суд над собой-поэтом», что многое из этого возможного счастья «выжато и отменено» [7: 216].

«Для начала что предпринять?
Ограничить себя собой:
Выжми рифмы, отмени метафоры,
Брось любовника, не пой в уборной»
(«Безусловно, пора пресекать...»)¹⁸.

Своеобразной презентацией всех вариантов современного понимания счастья стал роман В. Пелевина 2018 года «Тайные виды на гору Фудзи»¹⁹. В. Пелевин – писатель, всегда остро чувствующий нерв времени. В свойственной ему жесткой манере он в свое время писал о легендированности советской действительности («Омон Ра»), о массовом разрушении этических координат времени, когда все выставляется на продажу, о новых ценностях, которые несет постсоветское поколение («Generation Пи»). Один из героев его нового романа – Дамиан, «продавец счастья» – в буквальном смысле предлагает купить его трем олигархам, сделавшим свои капиталы в 1990-е, а в 2010-х возмечтавшим об Истинном Счастье, буквально подтверждая знаменитый парадокс Истерлина, основанный на существовании *эффекта пресыщения*:

«До тех пор, пока доход не превысил определенную сумму (достаточную для того, чтобы удовлетворить основные потребности), каждый дополнительный доллар приносит все больше счастья, после этого уровня дополнительное повышение дохода уже не приносит счастья. Другими словами, люди, преодолевшие уровень доходов, при котором удовлетворены все основные потребности, не ощущают роста удовлетворенности жизнью с ростом дохода» [11: 104].

Первый «торг» олигархов, достигших «порога пресыщения», и «продавца счастья» свидетельствует о том, что речь идет о счастье в качестве экономического продукта, хотя Дамиан честно предупреждает, что продается не результат, но технология его достижения:

«Счастье – это психический эффект, Ваше, так сказать, субъективное состояние в конце определенной процедуры. Продать и купить можно только процедуру. То есть технологию достижения счастья.

– И много у тебя процедур?

– Сейчас около десяти.

– А какой ценовой диапазон?

– Три таера, – ответил Дамиан. – Некоторые варианты дорогие» (14).

Очевидно, что верх взяла экономическая модель счастья. Счастье вновь воспринимается мифологически, но это уже иная «экономическая» мифология: счастье можно смоделировать и купить. Суть конфликта заключена в том, что олигархи возмечтали о подлинном счастье, которое хотят приобрести за деньги, при этом «не постояв за ценой». Один из героев точно определяет, каким оно должно быть:

«Ошеломляющее. Небывалое. Только без наркоты. Без таблеток, без уколов. Настоящее. Сильное. Светлое.

– Между прочим, – сказал Дамиан, – вы сейчас призываете меня пойти против всего морального опыта человечества.

– Почему?

– То, что вы описываете, называется, если совсем коротко, духовной радостью. Это высшее человеческое счастье. Принято считать, что такие вещи не продаются и не покупаются – это божья награда праведникам. А вы хотите это счастье купить.

– Правильно, – ответил Федор Семенович. – Хочу. Потому, что все, кроме такого счастья, у меня есть» (91).

Федору Семеновичу, Ренату Мусаевичу и Юрию Соломоновичу предлагаются разные способы: от перенесения в место и время «упущенного счастья» до сложных буддистских практик. Параллельно, иногда пересекаясь, развивается другая сюжетная линия – поиск женского счастья, которая спровоцировала первые оценки романа как очередного мизогинистского произведения автора. Главная героиня последовательно избывает разные варианты. Это и традиционная роль содержанки:

«Следующие четыре года Таня прожила почти счастливо. Во всяком случае, комфортабельно и спокойно. Игорь Андреевич не напрягал. Она не напрягала его тоже, без сцен и слез, сделав два аборта» (36).

Чуть позже – достижение женского счастья путем платы за него: «...волшебник прилетит, покажет, улетит, а ты оплатишь его вертолет последним кармическим ресурсом своей удачи и счастья» (169). Феминистское счастье независимости от мужчин в финале романа оборачивается банальным хорошо известным «дамским счастьем», пришедшим к героине в результате сложных практик «заарканивания мужика» (мы здесь значительно смягчаем термин, употребляемый писателем).

Роман наполнен бесконечными разговорами-размышлениями о возможностях достижения счастья:

«Во-первых, мы редко способны узнать счастье. Мы его видим только ретроспективно. Во-вторых, мы не всегда осознаем и замечаем катарсис, если он происходит в глубоких слоях психики» (80).

О путях к нему:

«Но ведь мы все (если не считать профессионалов искусства, которые просто канифолят людям мозги) поедаем эту духовную кулинарию с одной-единственной детской надеждой: обрести понимание, пережить озарение и счастье» (214). «Сансара, недостижимая милая сансара, манила своим тусклым светом, обещала прежнее счастье – и ускользала опять» (333).

В романе предлагаются и определения счастья:

«Счастье – всегда самообман. И этот самообман требует нежного креативного подхода» (21). «Счастье – это когда мозг дает сам себе немного сладкой морковки. Потому что все на самом деле происходит в нем» (93). «...Неподвижное, тончайшее, чистейшее счастье, доступное лишь очень сосредоточенному, ясному и спокойному уму» (132).

Но все попытки обрести счастье, «поймать птицу счастья завтрашнего дня» – попытки с заранее негодными средствами: «Вроде нормально все прошло, хотя счастья, конечно, не было. Его вообще нет, счастья...» (346). Выход, и здесь ощутима позиция не столько Дамиана, сколько автора, – возвращение к реальному миру, то есть к жизни без счастья, неприглядной, даже отвратительной, но, возможно, настоящей:

«Раньше я не знал ответа. А теперь понял: к омраченностям сансары, к лживым и пахучим человекам, к бурлящим ежедневным нечистотам, к хитрости и неправде, к смрадной помойке интернета, к лукавым новостным заголовкам, разводящим лоха на клик, к мучительно отвоеванному у Вселенной праву на стабильную мозговую галлюцинацию бытия...» (351).

Очерк моделей счастья в советскую и постсоветскую эпоху есть смысл завершить представлением романа, который назван (не без аналогии со «Счастливой Москвой» А. Платонова²⁰) «Счастливой Россией». Взяв один из своих псевдонимов, Акунин-Чхартисвили, автор недвусмысленно дает понять своему читателю, что перед ним очередная «невежливая книга» (выражение Б. Акунина), то есть книга, рассчитанная не на успех, но написанная для себя, для постановки и, возможно, решения проблем, серьезных и важных для автора. Время романа точно определено – вторая половина 1930-х годов, последние дни перед сменой власти в силовых структурах страны, преддверие краха Ежова. Органы раскрывают существование *истинной* подпольной организации «Счастливая Россия», члены которой называют себя «счастливоросами». Организация ставит заведомо утопическую задачу – сделать Россию счастливой. Попавшие в руки органов доклады, которые делались на заседаниях подпольной организации, – разворачивание картин утопии с разных точек зрения: исторической, политико-философской, богословской, литературной. Точно определяется смысл понятия «счастье», когда речь идет о жизни целой страны:

«Это отнюдь не только материальное благополучие (хоть и оно тоже), а такое общественное устройство, при котором каждый гражданин имеет ничем не ограниченную возможность развиваться как личность, заниматься любимым делом, жить осмысленно и с достоинством»²¹.

Но Россия, по мнению членов организации, – хронически несчастная страна,

«при любом режиме и при любом правительстве. В Гражданскую войну основная масса народа пошла за большевиками прежде всего потому, что те демагогически посулили счастье в неотдаленном будущем, при жизни нынешнего поколения»²².

Б. Акунин, мастер игры с жанрами, последовательно показывает, как все «типы речевых высказываний» (богословский трактат, политический прожект, историографический и футурологический очерки) сводятся к одному – утопии, мечте об идеальном устройстве России, в рамках которой нация и отдельный человек могут максимально полно реализовать себя, тем самым *встать* на пути к достижению общего счастья. Но повесть «Без ветра» Артура Свободина, задуманная как утопия, по законам русской литературы XX века превращается в антиутопию варианта «Мы» Е. Замятина, то есть мечта о рае для общества оборачивается адом и крушением иллюзий для индивида. В финале «птицу счастья», казалось бы, ухватил Филипп Бляхин,

герой детективно-политической линии романа, человек, менее всего достойный счастья. Он чудом, благодаря своей изворотливости, удержался на плаву во время смены карательных структур, сумел поставить жену на место, вернуть родного сына. В финале, всматриваясь в свое лицо, он констатирует:

«А посмотреть внимательно – лицо совсем другое. Живое. Будто проснувшееся. И блеск в глазах. А раньше не было. Ничего. Все перемелется, мука будет, и мы еще слепим из нее тесто. Бог даст, даже сдобное. Жить на свете надо счастливо. А иначе, зачем оно все?»²³.

Но и это в дальнейшем окажется для героя иллюзией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно подвести некоторые итоги. Конечно же, человечество не может не мечтать о счастье, о светлом будущем, о хорошей жизни. И каждый, возможно, даже пытается сформулировать для себя, что есть счастье. Любопытно, удастся ли С. Алексиевич в задуманной ею новой документальной

книге о любви и счастье зафиксировать эти формулы, вывести их из жизненной практики людей. Другое дело, литература, искусство. Прав Е. Добренко, культурный текст способен концептуализировать и оформить этот неуловимый конструкт. Но тут же его и деконструировать. Как тут не вспомнить «обманчивое название “Счастье”» М. Степановой, или «значимое отсутствие» этого понятия у Ю. Степанова, или пелевинское: «Счастье – всегда самообман». Можно процитировать и пушкинские строки, которые полнее всего передают психологическое состояние человека, взыскующего счастья: «На свете счастья нет, но есть покой и воля», или его же горько-ироничное: «Привычка свыше нам дана, замена счастию она».

Очевидно, что в определенные исторические эпохи государственные интересы обуславливают появление конкретных моделей счастья, а неконъюнктурное искусство в значительной степени корректирует их определенность и заданность.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М.: Русская книга, 1994. Т. 9. С. 79.
- ² Ларгус А. Книга о счастье. М.: Никса, 2017. 144 с.
- ³ Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова: В 4 т. М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1940. Т. 4. С. 615.
- ⁴ Тренев К. Любовь Яровая. М.: Худ. лит., 1952. 112 с.
- ⁵ Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М.: Худ. лит., 1989. Т. 2. 750 с.
- ⁶ Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 26. С. 265.
- ⁷ Замятин Е. Мы: Романы, повести, рассказы, сказки. М.: Современник, 1989. С. 204.
- ⁸ Платонов А. П. Котлован; Ювенильное море: Повести, роман. М.: Современник, 1987. С. 81.
- ⁹ Там же. С. 121.
- ¹⁰ Там же. С. 121–122.
- ¹¹ Павленко П. А. Счастье. М.: Гослитиздат, 1954. С. 56.
- ¹² Трифонов Ю. Студенты. М.: Изд-во ЦК ВЛКСМ, 1953. С. 83.
- ¹³ Там же.
- ¹⁴ Там же. С. 84.
- ¹⁵ Там же. С. 84–85.
- ¹⁶ Быков Д. Думание мира. СПб.: Лимбус Пресс, 2009. С. 255.
- ¹⁷ Там же. С. 256.
- ¹⁸ Степанова М. Счастье. М.: НЛО, 2003. 88 с.
- ¹⁹ Пелевин В. О. Тайные виды на гору Фудзи. М.: Эксмо, 2018. 416 с. В круглых скобках будут указаны страницы.
- ²⁰ Платонов А. Счастливая Москва // Новый мир. 1991. № 9. С. 9–76.
- ²¹ Акунин-Чхартишвили. Счастливая Россия. М.: Захаров, 2017. С. 40.
- ²² Там же. С. 41.
- ²³ Там же. С. 324.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Добренко Е. А. Рецензия на книгу: Топография счастья: Этнографические карты модерна / Сост. Н. Ссорин-Чайков. М.: НЛО, 2013. 408 с. // Антропологический форум. 2015. № 25. С. 165–172.
2. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. 576 с.
3. Казак В. Лексикон русской литературы XX в. М.: Культура, 1996. 491 с.
4. Ключевский В. О. Литературные портреты. М.: Современник, 1991. 463 с.
5. Лернер Ю. Траектория счастья в любви на постсоветском экране // Топография счастья: Этнографические карты модерна / Сост. Н. Ссорин-Чайков. М.: НЛО, 2013. С. 173–198.

6. Макаренко А. С. Педагогические сочинения: В 8 т. М.: Педагогика, 1984. Т. 7. 319 с.
7. Пустовая В. Три в одной. Мария Степанова. Счастье. М.: НЛО, 2003 // Знамя. 2004. № 5. С. 215–217.
8. Ссорин-Чайков Н. Топография счастья, новый диффузионизм и этнографические карты модерна // Топография счастья: Этнографические карты модерна / Сост. Н. Ссорин-Чайков. М.: НЛО, 2013. С. 5–37.
9. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Академический проект, 2001. 990 с.
10. Топография счастья: Этнографические карты модерна / Сост. Н. Ссорин-Чайков. М.: НЛО, 2013. 408 с.
11. Чинакова Н. В. Экономика счастья: современные исследования и дискуссии // Мир экономики и управления. 2016. Т. 16. № 1. С. 101–115.

Поступила в редакцию 25.05.2020

Alexey V. Podchinenov, PhD in Philology, Ural Federal University
(Ekaterinburg, Russian Federation)

a.v.podchinenov@urfu.ru

Tatiana A. Snigireva, Doctor of Philology, Ural Federal University, Leading Researcher,
Institute of History and Archeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
(Ekaterinburg, Russian Federation)

tas0905@rambler.ru

HOMO SOVETICUS & HOMO POSTSOVETICUS: MODELS OF HAPPINESS IN RUSSIAN LITERATURE

Happiness is a complex cultural construct, with many exits into the sphere of life practice, but designed primarily through an artistic text. The article discusses the evolution of happiness concept in Soviet and post-Soviet literature. Initially, modeling of happiness was based on the opposition of the public and the personal. Love was preached, but to an idea, not to a person. Soviet mythology was based on the fact that not family happiness, but the happiness of the struggle to build a new world became the principle conflict of a literary work (P. Pavlenko). But there was another discourse that translated this topic from heroic into tragic (A. Platonov), and later into the dispute form (Yu. Trifonov). In post-Soviet literature, there is no dominant model of happiness, as well as no regulated national idea. Happiness is filled not with general, but with personal meaning. The search for happiness acquires an exclusively individual character: it is either transferred to the “innocent past” (B. Akunin), or is interpreted as overcoming oneself (T. Tolstaya, A. Kabakov, D. Rubina, etc.). Victor Pelevin’s novel *Secret Views of Mount Fuji* (2018) presents a kind of the modern understanding of happiness, with the economic model being a priority, and a new “economic” mythology of happiness being created. The writer considers this a modern form of self-deception and a substitution of reality. In the final part of the article, Boris Akunin-Chkhartishvili’s novel *Happy Russia* (2017), full of reminiscences, is considered as an essay on happiness models in the Soviet and post-Soviet era, and as the development of utopian pictures from different points of view: historical, political, philosophical, theological, and literary ones.

Keywords: model of happiness, Soviet and post-Soviet literature, Pelevin, Akunin

Cite this article as: Podchinenov A. V., Snigireva T. A. Homo soveticus & Homo postsoveticus: models of happiness in Russian literature. *Proceedings of Petrozavodsk State University*. 2020. Vol. 42. No 7. P. 78–86. DOI: 10.15393/uchz.art.2020.528

REFERENCES

1. Dobrenko E. Book review: The topography of happiness: Ethnographic maps of the modern. (N. Ssorin-Chaykov, Comp.) *Anthropological Forum*. 2015. No 25. P. 165–172. (In Russ.)
2. Durkheim E. The division of labor in society. Sociological method. Moscow, 1991. 576 p. (In Russ.)
3. Kazak V. Lexicon of Russian literature of the XX century. Moscow, 1996. 491 p. (In Russ.)
4. Klyuchevskiy V. Literary portraits. Moscow, 1991. 463 p. (In Russ.)
5. Lerner Yu. The trajectory of happiness in love on the post-Soviet screen. *The topography of happiness: Ethnographic maps of the modern*. Moscow, 2013. P. 173–198. (In Russ.)
6. Makarenko A. Pedagogical essays: In 8 vols. Moscow, 1984. Vol. 7. 319 p. (In Russ.)
7. Pustovaya V. Three in one. Maria Stepanova. Happiness. Moscow, 2003. *Znamya*. 2004. No 5. P. 215–217. (In Russ.)
8. Ssorin-Chaykov N. The topography of happiness, new diffusionism and modern ethnographic maps of the modern. *The topography of happiness: Ethnographic maps of the modern*. Moscow, 2013. P. 5–37. (In Russ.)
9. Stepanov Yu. Constants: Dictionary of Russian culture. Moscow, 2001. 990 p. (In Russ.)
10. The topography of happiness: Ethnographic maps of the modern. Moscow, 2013. 408 p. (In Russ.)
11. Chinakova N. V. The economy of happiness: modern research and discussions. *World of Economics and Management*. 2016. Vol. 16. No 1. P. 101–115. (In Russ.)

Received: 25 May, 2020